

# Из воспоминаний о Владимире Маяковском

(К 11-й годовщине со дня смерти поэта)

«Я одинокий, как последний глаз у идущего к слепым человека». Это писал Маяковский в своих ранних стихах. Отпечаток величавого, но жестокого одиночества был и во внешнем его облике. Высокий, неуклюжий, красивый неправильной, сумрачной красотой, он выделялся в любой толпе.

Я увидела его впервые в зале Политехнического музея, в Москве, в 1920 году. Период военного коммунизма. В те жесткие годы интерес к вопросам искусства необычайно возрос. В голодной и холодной Москве 1920 года диспуты о поэзии футуристов, имажинистов, символистов, акмеистов, «ничтоков» (были и такие в истории русской поэзии), выступления пролетарских поэтов собирали множество слушателей.

Литературное объединение имажинистов устроило диспут о современной поэзии в Политехническом музее в ноябре или декабре 1920 года (точно ни числа, ни месяца не помню). Председательствовал Валерий Брюсов. Во время доклада Валерия Шершеневича об имажинистах в аудитории началось какое-то смутное движение. Сидящие впереди отглядывались назад. Занимавшие места позади привставали, искали взглядом кого-то впереди. Шопот в рядах нарастал, и уже ясно слышалось со всех сторон: «Маяковский, Маяковский».

Поэт, одетый в серое зимнее пальто, тупа поддевки, с темносерым мерлушковым воротником, в шапке того же меха, стоял посредине одного из проходов. У него был вид человека, стоящего на пустынной дороге. Засунув руки в карманы сумрачно сосредоточенным взглядом он рассматривал что-то впереди. Казалось, что ни зрителей, ни президиума не видит он, не слышит докладчика. Просто стоит равнодушно в спокойном размышлении о чем-то своем.

Такого «каменного» невнимания к окружающему не выдержала аудитория. Один крикнул громко, как клич: «Маяковский!» Множество голосов подхватило этот призыв: «Маяковский, Маяковский».

Поэт неторопливо, будто нехотя, снял шапку, слегка взмахнул ею и широкими шагами направился к эстраде.

Шершеневич, замолкший от шума, возникшего в зале, начал было снова говорить, но зычный голос Маяковского заглушил его слова. Одним энергичным прыжком он вскочил на эстраду и закрыл собой Шершеневича. Слушатели зааплодировали, зашумели. Маяковский прокричал, как глашатай:

— Внимание! Слушайте! Сенсационное сообщение! Необычайное происшествие в народном суде!

Вопарилась полная тишина. Умерив голос, Маяковский продолжал.

— Я сейчас из камеры народного суда. Разбиралось необычайное дело: дети убили свою мать. Они оправдывались тем, что мамаша была большая дрянь! Распутная и продажная. Но дело в том, что мать была все-таки поэзия, а дети ее — имажинисты.

В зале дружно рассмеялись. Имажинисты, сидевшие на сцене, буквально рванулись к Маяковскому. Поэт слегка отмахнулся от них рукой и стал пародировать стихи имажинистов. Он едко издевался над образцами их творчества. Публика хохотала. Из всех рядов неслись ответные восклицания, замечания. В зале сделалось чрезвычайно шумно. Громко бранились имажинисты. Валерий Брюсов несколько раз принимался звонить своим председателем колокольчиком, потом бросил его на стол и сел, скрестив за груды руки.

На стол президиума вскочил худощавый невысокий Есенин в шерстяном костюме. Обозленный совсем по-детски, он зачем-то рванул на себе галетку, взерошил припомаженные, блекло-золотистые кудрявые волосы, закричал звонким и чистым, тоже сильным голосом, но много, чем у Маяковского тембра.

— Не мы, а вы убиваете поэзию! Вы пишете не стихи, а агитезы!

Густым басом, подлинно как «медногорлая сирена», отозвался ему Маяковский:



Рисунок Ф. Литвинова.

— А вы — кобылезы...

Чтобы заставить его замолчать, Есенин принялся надрывно кричать свои стихи. Маяковский немного послушал, усмехнулся и начал читать свое произведение, совершенно заглушив Есенина. Аудитория положительно бесновалась: свистки, аплодисменты, крики, топанье ногами. А Маяковский читал спокойно, отчетливо, прекрасно. И «стихия» утихла. Наступила тишина. Стихи Маяковского прозвучали над разношерстной толпой литературных диспутов, действительно, «как ласка и лозунг, и штык, и кнут». Они победили не только словесной выразительностью, но и политической своей насыщенностью. Уходя из музея, их повторяли и те, кто сначала не хотел слушать Маяковского.

\*\*\*

В 1926 году комиссия по улучшению быта учащихся (Кубуч) на Украине вызвала для литературных выступлений поэтов и писателей из Москвы и Ленинграда. Я приехала вслед за Маяковским. Он только что вернулся из Америки. В одном украинском журнале появилась карикатура: Маяковский верхом на географическом изображении Америки с револьверами в обеих руках и я тоже верхом только на книжке «Виринея» с кнутиком в руке. Маяковский показал мне эту карикатуру, и спросил усмехнувшись:

— «Виринея» разве тоже ваше открытие Америки?

Не дожидаясь ответа, добавил удивительно просто, задумчиво:

— Наше ремесло в том, чтобы открывать Америки, хотя бы уже открытые.

\*\*\*

Душевно сблизилась мы с ним за границей. Вне советской действительности поэт чувствовал себя физически одиноким. Все советские люди были для него плотью родины. Он стремился часто быть с нами. Когда нам надо было появляться вместе, как представителям советской литературы, он в Берлине и Париже ездил за мной. Волнуясь, я не раз теряла ключи, долго металась по комнате в поисках. Ключи были необходимы, чтобы при позднем возвращении не беспокоить привратника и квартирохозяек. Маяковский терпеливо ждал, пока я их найду. Однажды, захватив за мной, он спросил:

— Когда ваши именины?

— Что такое? Зачем?

— Пускай будут сегодня. Я привез вам именинный подарок.

Он вытащил из кармана металлическое кольцо с ключами. Улыбнувшись особенно светлой на его суровом лице улыбкой, добавил:

— Примите. Подарок Маяковского... российской азиатке.

В 1927 году Маяковский приехал в

Париж 29 апреля. Наш полпред во Франции просил нас, чтобы первое мая мы провели в стенах полпредства. За границей около здания наших полпредств всегда вьются шпики. Тип шпики воистину интернационален. Циническая неизменность приемов, этого тоскливого мечтания на определенной улице вблизи избранного дома, не может остаться неприметной даже для простодушного или невнимательного к окружающему человека.

В Париже тогда я увидела более веселую его разновидность. Там шпики вели себя очень непринужденно. Смотрели прямо, не таясь, провожали глазами, ничуть не скрывали своего присутствия на улице Гренель. Они часто подходили поболтать с постовым «ажаном» (полицейским). В дурную погоду наблюдали, высунувшись из раскрытых окон дома против полпредства, и оживленно совещались друг с другом. Многих из них мы знали в лицо. Маяковскому «приглянулся» один из них, маленький, вертлявый, как вьюн, с подвижным лицом. Он прозвал его «маго» (бесхвостая обезьянка).

Когда 1 мая мы были в полпредстве, и никто из нас не имел права отвечать на приветствия рабочих, нарочито проходивших на демонстрацию мимо здания советского представительства, Маяковский бранился, говорил полпреду:

— Неужели нельзя мне в такой день хоть паршивого магошку откровенно распропагандировать? Отпустите меня хоть к магошке вразумительно побеседовать!

После 1 мая состоялось открытое литературное выступление Маяковского в кафе «Вольтер». Здесь уж он пропагандировал в полную душу. Зал не вмещал желающих слышать поэта. Они стояли на улице и на прилегающей площади. Раскрыты были все окна. Мощный голос Маяковского явственно был слышен без помощи рупора и на улице, и на площади. В ответ ему неслись крики друзей и врагов. Конная полиция с трудом сохраняла порядок в толпе вне здания. Многочисленные голоса требовали чтения дореволюционных произведений поэта. Он упрямо читал стихи советского периода: «Товарищу Нетте», «Шесть монахинь», «Мы не верим!» (о смерти Ленина), «Левый марш» и т. д.

У Анны Ахматовой есть хорошее стихотворение «Маяковский в 1913 году». В нем такие строки:

Все, чего касался ты, казалось  
Не таким, как было до тех пор,

То, что разрушал ты, — разрушалось.  
В каждом слове бился приговор.

Именно таким было его выступление, о котором я рассказываю. Маяковский не только читал свои стихи. Он отвечал на многие выкрики толпы. Отвечал так, как лишь он умел это делать. Обоснованно и категорически.

Во время одной паузы между чтением стихов и ответами публике Маяковский увидел, что я тянусь за водой на его столе. Он подальше стакан воды и громко объявил:

— Я подаю воду советской писательнице Сейфуллиной. Приветствуйте ее!

В ответ раздались недоуменные вопросы:

— Кто такая? Где она? Какая писательница?

Кто-то крикнул:

— Пусть встанет на стол. Покажите ее!

Владимир Владимирович авторитетно заявил:

— Зачем ей вставать на стол? Она и так высоко стоит на собрании своих сочинений. Приветствуйте!

Раздались жидкие аплодисменты и смех. В отношении меня это было жестоко. Кроме советской колонии, в Париже мало кто знал меня. «Юманите», орган французской компартии, только начал печатанье отдельных глав «Перегноя» на французском языке. А тут вдруг приказ: «Приветствуйте!».

Под шум расспросов обо мне, я сказала Маяковскому чуть не со слезами в глазах:

— Маяковский, как вам не стыдно?

Он взглянул на меня. Этого взгляда я никогда не забуду. Если б терзали орла, чтобы слышать, как он кричит, наверное, у него бы бы такой взгляд. Волевой, напряженный до предела. Он ответил:

— Оставьте. Мне это надо.

И я поняла. Ему необходима была хоть минутная передышка от жадного внимания людей, всегда устремленного на поэта, где бы он ни появлялся.

Каждое публичное выступление его было одним из этапов творчества поэта-трибуна. Поэтому и у нас, и за границей те, кто слышал его, никогда уже не забывал ни стихов, ни высказываний Маяковского. О них надо писать целую книгу. В скорбный день его памяти я могу вспоминать о Маяковском лишь коротко, взволнованно и отрывочно.

ЯЛТА. 1941 г. Л. СЕЙФУЛЛИНА.